

Тиф

В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих, ехал молодой поручик Климов. Против него сидел пожилой человек с бритой шкиперской физиономией, по всем видимостям, зажиточный чухонец или швед, всю дорогу сосавший трубку и говоривший на одну и ту же тему: Га, вы офицер! У меня тоже брат офицер, но только он морьяк... Он морьяк и служит в Кронштадт. Вы зачем едете в Москву?

Я там служу.

Га! А вы семейный?

Нет, я живу с теткой и сестрой.

Мой брат тоже офицер, морьяк, но он семейный, имеет жена и три ребенка.

Га!

Чухонец чему-то удивлялся, идиотски-широко улыбался, когда восклицал га!, и то и дело продувал свою вонючую трубку. Климов, которому нездоровилось и тяжело было отвечать на вопросы, ненавидел его всей душой. Он мечтал о том, что хорошо бы вырвать из его рук сипевшую трубку и швырнуть ее под диван, а самого чухонца прогнать куда-нибудь в другой вагон.

Противный народ эти чухонцы и... греки, думал он. Совсем лишний, ни к чему не нужный, противный народ. Занимают только на земном шаре место. К чему они?

И мысль о чухонцах и греках производила во всем его теле что-то вроде тошноты. Для сравнения хотел он думать о французах и итальянцах, но воспоминание об этих народах вызывало в нем представление почему-то только о шарманщиках, голых женщинах и заграничных олеографиях, которые висят дома у тетки над комодом.

Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как-то не укладывались на диване, хотя весь диван был к его услугам, во рту было сухо и липко, в голове стоял тяжелый туман; мысли его, казалось, бродили не только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышал он бормотанье голосов, стук колес, хлопанье дверей. Звонки, свистки кондуктора, беготня публики по платформе слышались чаще, чем обыкновенно. Время летело быстро, незаметно, и потому казалось, что поезд останавливался около станции каждую минуту, и то и дело извне доносились металлические голоса;

Готова почта?

Готова!

Казалось, что слишком часто истопник входил и поглядывал на термометр,

что шум встречного поезда и грохот колес по мосту слышались без перерыва. Шум, свистки, чухонец, табачный дым всё это, мешаясь с угрозами и миганьем туманных образов, форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром. В страшной тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого кружились тени и туманные пятна, хотел просить воды, но высохший язык едва шевелился и едва хватало силы отвечать на вопросы чухонца. Он старался поудобнее улечься и уснуть, но это ему не удавалось; чухонец несколько раз засыпал, просыпался и закуривал трубку, обращался к нему со своим га! и вновь засыпал, а ноги поручика всё никак не укладывались на диване, и грозящие образы всё стояли перед глазами.

В Спирове он вышел на станцию, чтобы выпить воды. Он видел, как за столом сидели люди и спешили есть.

И как они могут есть! думал он, стараясь не нюхать воздуха, пахнущего жареным мясом, и не глядеть на жующие рты, то и другое казалось ему противным до тошноты.

Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные белые зубы; и улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Он не мог понять, как это военному в красной фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое, улыбающееся лицо.

Когда он, выпив воды, вернулся в вагон, чухонец сидел и курил. Его трубка сипела и всхлипывала, как дырявая калоша в сырую погоду.

Га! удивился он. Это какая станция?

Не знаю, ответил Климов, ложась и закрывая рот, чтобы не дышать едким табачным дымом.

А в Твери когда мы будем?

Не знаю. Извините, я... я не могу отвечать. Я болен, простудился сегодня.

Чухонец постучал трубкой об оконную раму и стал говорить о своем брате-моряке. Климов уж более не слушал его и с тоской вспоминал о своей мягкой, удобной постели, о графине с холодной водой, о сестре Кате, которая так умеет уложить, успокоить, подать воды. Он даже улыбнулся, когда в его воображении мелькнул денщик Павел, снимающий с барина тяжелые, душные сапоги и ставящий на столик воду. Ему казалось, что стоит только лечь в свою постель, выпить воды, и кошмар уступил бы свое место крепкому, здоровому сну.

Почта готова? донесся издали глухой голос.

Готова! ответил бас почти у самого окна.

Это была уже вторая или третья станция от Спирова.

Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и

остановкам не будет конца. Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана, обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле, но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли. Его горячее дыхание, отражаясь от спинки дивана, жгло ему лицо, ноги лежали неудобно, в спину дуло от окна, но, как ни мучительно было, ему уж не хотелось переменять свое положение... Тяжелая, кошмарная лень мало-помалу овладела им и сковала его члены.

Когда он решился поднять голову, в вагоне было уже светло. Пассажиры надевали шубы и двигались. Поезд стоял. Артельщики в белых фартуках и с бляхами суетились возле пассажиров и хватали их чемоданы. Климов надел шинель, машинально вслед за другими вышел из вагона, и ему казалось, что идет не он, а вместо него кто-то другой, посторонний, и он чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона его жар, жажда и те грозящие образы, которые всю ночь не давали ему спать. Машинально он получил багаж и нанял извозчика. Извозчик запросил с него до Поварской рубль с четвертью, но он не торговался, а беспрекословно, послушно сел в сани. Разницу в числах он еще понимал, но деньги для него уже не имели никакой цены.

Дома Климова встретили тетка и сестра Катя, восемнадцатилетняя девушка. В руках Кати, когда она здоровалась, были тетрадка и карандаш, и он вспомнил, что она готовится к учительскому экзамену. Не отвечая на вопросы и приветствия, а только отдуваясь от жара, он без всякой цели прошелся по всем комнатам и, дойдя до своей кровати, повалился на подушку. Чухонец, красная фуражка, дама с белыми зубами, запах жареного мяса, мигающие пятна заняли его сознание, и уже он не знал, где он, и не слышал встревоженных голосов.

Очнувшись, он увидел себя в своей постели, раздетым, увидел графин с водой и Павла, но от этого ему не было ни прохладнее, ни мягче, ни удобнее. Ноги и руки по-прежнему не укладывались, язык прилипал к нёбу, и слышалось всхлипывание чухонской трубки... Возле кровати, толкая своей широкой спиной Павла, суетился плотный чернобородый доктор.

Ничего, ничего, юноша! бормотал он. Отлично, отлично... Тэк, тэк... Доктор называл Климова юношей, вместо так говорил тэк, вместо да дэ... Дэ, дэ, дэ, сыпал он. Тэк, тэк... Отлично, юноша... Не надо унывать!

Быстрая, небрежная речь доктора, его сытая физиономия и снисходительное юноша раздражили Климова.

Зачем вы зовете меня юношей? простонал он. Что за фамильярность? К чёрту! И он испугался своего голоса. Этот голос был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя было узнать.

Отлично, отлично, забормотал доктор, нисколько не обижаясь. Не надо сердиться... Дэ, дэ, дэ...

И дома время летело так же поразительно быстро, как и в вагоне... Дневной свет в спальней то и дело сменялся ночными сумерками. Доктор, казалось, не отходил от кровати, и каждую минуту слышалось его дэ, дэ, дэ. Через спальную непрерывно тянулся ряд лиц. Тут были: Павел, чухонец, штабс-капитан Ярошевич, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама с белыми зубами, доктор. Все они говорили, махали руками, курили, ели. Раз даже при дневном свете Климов видел своего полкового священника о. Александра, который в епитрахили и с требником в руках стоял перед кроватью и бормотал что-то с таким серьезным лицом, какого раньше Климов не наблюдал у него. Поручик вспомнил, что о. Александр всех офицеров-католиков приятельски обзывал ляхами, и, желая посмешить его, крикнул:

Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!

Но о. Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся, а стал еще серьезнее и перекрестил Климова. Ночью раз за разом бесшумно входили и выходили две тени. То были тетка и сестра. Тень сестры становилась на колени и молилась: она кланялась образу, кланялась на стене и ее серая тень, так что богу молились две тени. Всё время пахло жареным мясом и трубкой чухонца, но раз Климов почувствовал резкий запах ладана. Он задвигался от тошноты и стал кричать:

Ладан! Унесите ладан!

Ответа не было. Слышно было только, как где-то негромко пели священники и как кто-то бежал по лестнице.

Когда Климов очнулся от забытья, в спальней не было ни души. Утреннее солнце било в окно сквозь спущенную занавеску, и дрожащий луч, тонкий и грациозный, как лезвие, играл на графине. Слышался стук колес значит, снега уже не было на улице. Поручик поглядел на луч, на знакомую мебель, на дверь и первым делом засмеялся. Грудь и живот задрожали от сладкого, счастливого и щекочущего смеха. Всем его существом, от головы до ног, овладело ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан и впервые увидел мир. Климов страстно захотел движения, людей, речей. Тело его лежало неподвижным пластом, шевелились одни только руки, но он это едва заметил и всё внимание свое устремил на мелочи. Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим. Когда явился доктор, поручик думал о том, какая славная штука медицина, как мил и симпатичен доктор, как вообще хороши и интересны люди.

Дэ, дэ, дэ... сыпал доктор. Отлично, отлично... Теперь уж мы здоровы... Тэк, тэк.

Поручик слушал и радостно смеялся. Вспомнил он чухонца, даму с белыми зубами, окорок, и ему захотелось курить, есть.

Доктор, сказал он, прикажите дать мне корочку ржаного хлеба с солью и... и сардин.

Доктор отказал, Павел не послушался приказания и не пошел за хлебом.

Поручик не вынес этого и заплакал, как капризный ребенок.

Малюточка! засмеялся доктор. Мама, бай, а-а!

Климов тоже засмеялся и, по уходе доктора, крепко уснул. Проснулся он с тою же радостью и с ощущением счастья. Возле постели сидела тетка.

А, тетя! обрадовался он. Что у меня было?

Сыпной тиф.

Вот что. А теперь мне хорошо, очень хорошо! Где Катя?

Дома нет. Вероятно, зашла куда-нибудь с экзамена.

Старуха сказала это и нагнулась к чулку; губы ее затряслись, она отвернулась и вдруг зарыдала. В отчаянии, забыв запрещение доктора, она проговорила:

Ах, Катя, Катя! Нет нашего ангела! Нет!

Она уронила чулок и нагнулась за ним, и в это время с головы ее свалился чепец. Взглянув на ее седую голову и ничего не понимая, Климов испугался за Катю и спросил:

Где же она? Тетя!

Старуха, которая уже забыла про Климова и помнила только свое горе, сказала:

Заразилась от тебя тифом и... и умерла. Третьего дня похоронили.

Эта страшная, неожиданная новость целиком вошла в сознание Климова, но, как ни была она страшна и сильна, она не могла побороть животной радости, наполнявшей выздоравливающего поручика. Он плакал, смеялся и скоро стал браниться за то, что ему не дают есть.

Только спустя неделю, когда он в халатишке, поддерживаемый Павлом, подошел к окну, поглядел на пасмурное весеннее небо и прислушался к неприятному стуку старых рельсов, которые провозили мимо, сердце его сжалось от боли, он заплакал и припал лбом к оконной раме.

Какой я несчастный! забормотал он. Боже, какой я несчастный!

И радость уступила свое место обыденной скуке и чувству невозвратимой потери.